И.ТУРГЕНЕВ

**Разговор на большой дороге**

По большой …ой дороге тащится довольно уже ветхий тарантас, запряженный тройкою загнанных лошадей. В тарантасе сидят рядом: господин лет 28-ми, Аркадий Артемьевич Михрюткин, худенький человек, с крошечным лицом, унылым красным носом и бурыми усиками, закутанный в серую поношенную шинель — и слуга его Селивёрст (он также и земский), расплывшийся, пухлый мужчина 40 лет, рябой, с свиными глазками и желтыми волосами. На козлах сидит кучер Ефрем, бородастый, красный и курносый, одетый в тяжелый рыжий армяк и шляпу с опустившимися краями; ему тоже около 40 лет. Солнце печет; жара и духота страшная. — Едут они из уездного города и полчаса тому назад останавливались в постоялом дворике, где и Ефрем и Селивёрст оба успели немного выпить. — Г. Михрюткин часто кашляет, — грудь у него расстроена, и вообще он вид имеет недовольный. — Он говорит торопливо и смутно, словно спросонья; Ефрем выражается медленно и обдуманно; Селивёрст произносит слова с трудом, словно выпирает их из желудка; он страдает одышкой.

Михрюткин *(внезапно встряхнув шинелью.)* Ефрем — а Ефрем!

Ефрем *(оборачиваясь к нему вполовину)*. Чего изволите?

Михрюткин. Да что, ты спишь, должно быть, на козлах-то? — Как же ты не видишь, что у тебя под носом делается — а? — Любезный ты мой друг.

Ефрем. А что-с?

Михрюткин. Что-с? — У тебя одна пристяжная вовсе не работает. Что ж ты за кучер после этого — а?

Ефрем. Какая пристяжная не работает?

Михрюткин. Какая… какая… Известно, какая: правая вороная. Ничего не везет — разве ты не видишь?

Ефрем. Правая?

Михрюткин. Ну, не рассуждай, пожалуйста, и не повторяй слов моих. Я этой гнусной привычки в дворовых людях терпеть не могу. — Стегни-ка ее, стегни, хорошенько стегни, да: вперед не давай ей дремать, да и сам тоже того… *(Ефрем с язвительной усмешкой сечет правую пристяжную.)* После этого мне остается самому на козлы сесть, — да разве это мое дело? Это твое дело. Дурак. *(Ефрем продолжает сечь пристяжную. Она брыкает.)* Ну однако — тише! *(Помолчав.)* Экая, между прочим, жара несносная. *(Закутывается в шинель и кашляет.)*

Селивёрст *(помолчав)*. Да-с… оно точно: жара. Ну, а впрочем — для уборки хлебов — оно ничего-с. — О-ох, господи! *(Вздыхает и чмокает губами, как бы собираясь дремать.)*

Михрюткин *(помолчав — Селивёрсту)*. Скажи, пожалуйста — что это за толстая баба на постоялом дворе с нами рассчитывалась? — Я прежде ее не видывал.

Селивёрст. А сама хозяйка. Из Белева надысь наехала.

Михрюткин. Отчего она такая толстая?

Селивёрст. А кто ж ее знает! Иного эдак вдруг разопрет — чем он в иефтем случае виноват?

Михрюткин. Она с нас дорого взяла — эта баба. Я заметил — ты никогда на постоялых дворах не торгуешься. Никогда. — Что запросят — ты и даешь. Знать, она тебе поднесла, эта баба. И в городе тоже втрое заплатил.

Селивёрст. Что вы изволите говорить, Аркадий Артемьич!.. Я, кажется, не таковский человек, чтобы из каких там нибудь угожденьев или видов…

Михрюткин. Ну, хорошо, хорошо…

Селивёрст. Я, Аркадий Артемьич, сызмала еще вашему батюшке покойному служил — и до сих пор служу вашей милости, то есть; и никто за мной никаких операций не замечал. Потому что я чувствую; и чтобы что-нибудь эдак против господской выгоды, или вообще не по совести — честь свою замарать согласиться; да я, помилуйте — я — да и господи боже ты мой…

Михрюткин. Ну, да хорошо же…

Селивёрст. А баба эта с нас даже не дорого взяла; так ли еще берут на постоялых дворах! — Вы говорите — она мне поднесла: что ж? может быть, и поднесла. Я от своего количества не отказываюсь. Я пью; но пью умеренно, с воздержанием.

Михрюткин. Ну да, говорят тебе — хорошо.

Селивёрст. Вы только напрасно меня обидеть изволили, Аркадий Артемьич, — бог с вами. — *(Михрюткин молчит.)* Бог с вами совсем!

Михрюткин *(с сердцем)*. Ну, да перестань же, чорт!

Селивёрст. Слушаю-с. *(Воцаряется молчанье.)*

Михрюткин *(который напрасно старался заснуть, Ефрему)*. А отчего это у тебя коренная ушами трясет — устала что ли она — вишь, вишь, на каждом шагу встряхивает?

Ефрем *(оборачиваясь вполовину)*. Какая лошадь ухми трясет?

Михрюткин. Коренная; разве ты не видишь?

Ефрем. Коренная ухми трясет?

Михрюткин. Да-да; ушми.

Ефрем. Не знаю, отчего она ухми трясти будет. Разве от мух.

Михрюткин. От мух лошадь всей головой трясет — а не одними ухми. *(Помолчав.)* А что, ведь, она, кажется, на ноги разбита?

Ефрем. Лядащая лошадь, как есть. *(Бьет ее кнутом.)*

Михрюткин. Ну, ты ее не любишь, я знаю.

Ефрем. Нет, Аркадий Артемьич, я ее люблю *(бьет ее)*; я, Аркадий Артемьич, всех ваших лошадей одинаково соблюдаю, потому что это первое дело; а тот уж не кучер, который не соблюдает лошадей, — тот, просто, легковерный человек. — Нет, — я ее люблю. А только я справедлив. — Где хвалить нечего — не хвалю.

Михрюткин. Что ж ты в ней, например, находишь дурного?

Ефрем. Аркадий Артемьич, позвольте вам доложить. Лошадь лошади рознь. — Вот как между людьми, например, человек бывает натуральный, без образованья, одним словом — пахондрик; так и в лошадях. Необстоятельная лошадь, Аркадий Артемьич; приятности в ней никакой нет. — Что, например, бежит она — на взволок, что ли, по ровному ли месту — или, например, под гору спущает — ничего в ней нет, — извольте сами посмотреть. *(Гнется на один бок.)* Ну что бежит, помилуйте. — Нет от нее никакого удовольствия. Просто, пустая лошадь. *(Бьет ее кнутом.)*

Михрюткин. Ну, а пристяжные, по-твоему — каковы?

Ефрем. Ну, пристяжные — ничего. Вороная, например, лошадь обходительная, божевольна маленько, пуглива — ну и ленца есть; а только обходительная лошадь, вежливая; а уж эта вот — *(указывая кнутом на левую пристяжную)* гнедая — просто без числа. — Конь добрый, степенный, ко кнуту ласков, бежит прохладно, доброхот; слуга, можно сказать, из слуг слуга. — Ногами, правда, немного тронут — да ведь у нас какая езда, Аркадий Артемьич, помилуйте. — То туды, то сюды — покоя нет лошадям ни малеющего. То вы сами изволите куда, например, прокатиться — то барыня погонят в город, то прикашык поскачет. — Где ж им тут справиться? А уж я, кажется, об них, как об отцах родных, забочусь. Эх вы, котята! *(Погоняет их.)*

Михрюткин *(помолчав)*. Так что ж ты думаешь насчет коренной-то — коли она так плоха?

Ефрем. Продать ее следует, Аркадий Артемьич. На что такую лошадь держать — сами вы извольте рассудить — что дурная, что хорошая лошадь — одинаково корм едят. А то и променять ее можно.

Михрюткин. Променять! — Знаю я ваши промены! — придашь денег пропасть, своя лошадь ни за что пойдет, а смотришь — та-то еще хуже.

Ефрем. На что же так менять, Аркадий Артемьич? — Этак менять не хорошо. Надо без придачи менять — ухо на ухо.

Михрюткин. Ухо на ухо! Да где ж ты такого дурака найдешь, который бы тебе за дрянную лошадь хорошую без придачи отдал, а? Что ты, однако, за кого меня принимаешь, наконец? *(Кашляет.)* ?

Ефрем. Да, Аркадий Артемьич, помилуйте. — Кому какая лошадь нужна: иному наша лошадь покажется, а нам — его. Вот, хучь бы у соседа нашего, у Евграфа Авдеича, есть животик; Евграф-то Авдеич порастратился, так, может быть, он сгоряча согласится. А лошадка добрая; добрая лошадка. — Он же такой человек рассеянный, вертлюшок; где ему лошадь прокормить — сам без хлеба сидит.

Михрюткин. А ты, однако, я вижу, глуп. Коли нечем лошадь прокормить — ну из чего, ну с какой стати станет он меняться — а?

Ефрем. Ну, так купить у него можно. А он отдаст дешево. Просто, за что угодно отдаст. Лишь бы со двора долой.

Михрюткин *(помолчав)*. А лошадь точно порядочная?

Ефрем. Отменная лошадь — вот изволите увидеть.

Михрюткин *(опять помолчав)*. Да ты, — чорт тебя знает — ты все врешь.

Ефрем. Зачем врать? Пес врет; за то он и собака.

Михрюткин *(недовольным голосом)*. Ну не рассуждай. *(Помолчав.)* И на этой еще поездим.

Ефрем. Как вашей милости угодно будет. — А только эта лошадь, воля ваша, просто — никуда. Просто — вохляк.

Михрюткин. Что-о?

Ефрем. Вохляк.

Михрюткин. Сам ты вохляк.

Ефрем *(оборачиваясь вполовину)*. Кто… я вохляк?

Михрюткин. Да — ты. Что ж тут удивительного! — Ты.

Ефрем *(протянув голову)*. Ну… ну это вы, однако, Аркадий Артемьич, уже того… больно изволите того… *(Он чрезвычайно обижен и взволнован.)*

Михрюткин *(вспыхнув)*. Что-о… что-о?

Ефрем. Да помилуйте… как же можно…

Михрюткин. Молчать! молчать! говорю тебе — молчать! Ах ты армяк верблюжий! Обижаться вздумал, вишь! Да — вохляк, вохляк — еще какой вохляк. Что ж — после этого я, по-твоему, уже ничего не смей сказать? Ты мне тут, бог тебя знает, что наболтал, а я должен перед тобой безмолвствовать? Вишь — краснобай эдакой! — Еще обижается! *(Кашляет.)* Молчать!.. *(Страшный кашель прерывает слова Михрюткина. Он вынимает из кармана бумажку, развертывает ее, достает оттуда кусок леденца и принимается сосать его. Ефрем молча погоняет лошадей; выражение его лица достойное и строгое. Успокоившись немножко, Михрюткин напрасно силится поправить за спиной кожаную подушку и толкает под бок Селивёрста, который, во все время разговора Аркадия Артемьича с Ефремом, спал мертвым сном.)* Селивёрст — Селивёрст! — Ну — разоспался, охреян неприличный — Селивёрст!

Селивёрст *(просыпаясь)*. Чего прикажете?

Михрюткин. Вот то-то и есть. — Не будь я так непростительно добр с вами, вы бы меня уважали; а то вы всякое уважение ко мне потеряли. Ну что спишь, словно не видал, как спят… Тут кучер позабылся, барина обеспокоил — а ты спишь.

Селивёрст. Я так только, немножко, Аркадий Артемьич…

Михрюткин. То-то, так. *(Утихая.)* Поправь мне подушку сзади. *(Селивёрст поправляет подушку.)* Одному я удивляюсь: кажется, уж на что я снисходителен, уж на что; а никакой привязанности в вас не заслужил. — Вы все меня за грош готовы продать, ей-ей! *(Едва сдерживая слезы.)* Да вот, потерпите маленько; не долго мне вам надоедать. Скоро, скоро сложу я свою головушку *(кланяется)*, посмотрю я, лучше ли вам будет без меня.

Селивёрст. Аркадий Артемьич, что это вы изволите говорить? — Не извольте отчаиваться. Бог милостив. И не стыдно тебе, Ефрем, азиятская ты душа…

Михрюткин *(перебивая Селивёрста)*. Не об Ефреме речь. Все вы таковы. — Вот, например, что я стану теперь делать? — Как я жене на глаза покажусь? — Последние были денежки, и те даром ухлопал. Еще хуже наделал. Уж теперь мне от опеки не отвертеться… шалишь! Уж теперь меня проберут — вот как проберут!

Селивёрст. Оно, точно, Аркадий Артемьич, не ладно. Кому ж иефто знать, коли не мне? — Да чем же мы-то виноваты, помилосердуйте — скажите. Уж мы бы, кажется, и телом, и душой; и всем, всем рады…

Михрюткин. По крайней мере, не огорчали бы, не раздражали. Видите — барину плохо приходится, просто, так приходится плохо — что сказать нельзя; очи, как говорится, на лоб лезут — а вы-то тут, вам-то тут любо… *(Сосет леденец.)*

Селивёрст. Вся причина в том, что люди в городе живут бесчувственные… удоблетворили их — какого им еще рожна нужно — прости, господи, мое прегрешенье! — Экие черти, право, согрешил я, грешный! *(Плюет.)*

Михрюткин. Именно, грабители. Вот мне в городе леденец продали, говорили, малиной отзываться будет, а в нем и сладости никакой нет; просто, один клей туда напихан. *(Помолчав.)* Хоть бы провизии на эти пятьдесят рублей купил! — Лиссабонского-то ведь, чай, ни одной бутылочки не осталось?

Селивёрст. Последнюю перед отъездом изволили выкушать.

Михрюткин. Ну так и есть! И жене ничего не купил — а она приказывала… Эх!

Селивёрст. Раиса Карповна гневаться будет, точно.

Михрюткин *(слезливо, почти крича)*. Ну для чего ты меня раздражаешь? Ну для чего? — Боже мой, боже мой! Что ж это такое! что ж это такое! — Что ж это я за несчастнейший человек на свете? *(Потупляет голову и кашляет.)*

Селивёрст. Аркадий Артемьич… По глупости… Извините… *(Михрюткин кашляет и кутается в шинель.)* От ревности, Аркадий Артемьич. *(Михрюткин молчит. Селивёрст в свою очередь умолкает. Никто не говорит в течение четверти часа. Лошади едва плетутся рысцой, оводы жадно вьются над ними. Селивёрст опять засыпает. Михрюткин, понемногу, поднимает голову.)*

Михрюткин *(успокоенным голосом — Ефрему)*. Ну что — опомнился? *(Молчание.)* Тебе говорю, опомнился?

Ефрем *(помолчав и передернув вожжами)*. Опомнился.

Михрюткин. Очунел?

Ефрем. Очунел. Михрюткин. Ну что ж ты — не знаешь порядков, что ли? Извиненья попроси.

Ефрем. Простите меня, Аркадий Артемьич.

Михрюткин. Бог тебя простит. *(Помолчав.)* А какой масти Евграфа Авдеичина-то лошадь?

Ефрем. Гнедая.

Михрюткин. Гнедая… А сколько ей лет?

Ефрем. Девять лет.

Михрюткин. А хорошо бежит?

Ефрем. Хорошо.

Михрюткин. Какой, однако, у тебя злющий нрав! Отвечаешь мне, словно брешешь… Ты сердишься на меня?

Ефрем *(помолчав)*. Помилуйте — Аркадий Артемьич, — разве я не знаю? — Я все знаю, Аркадий Артемьич. Как нашему брату не знать. — Господин, например, гневаться изволит. — Так что ж? — Где гнев, там и милость.

Михрюткин. Хорошо, вот это хорошо.

Ефрем. Помилуйте, Аркадий Артемьич; мы, конечно, не то, чтобы в отдаленности пробавлялись, за морем не бывали, точно; в Петербурхе больше понатерлись: все-таки, не такие уже, однако, пеньтюхи, чтобы, примером будучи, коровы от свиньи не спознать. Иному мужику, конечно, всякая дрянь в диво! ему что — он деревенщина, неуч; где ему! Следует рассудить: во всех делах следует рассудить — с кем греха не случается? Ну, как-нибудь не спапашился, или так, просто сказать, не в час попался — ну не показалось господину — он тебя и того; а ты выжидай; глядишь: блажь соскочила — и опять старые порядки пошли.

Михрюткин. Вот что умно, так умно; я никогда не скажу, что человек глупости говорит, когда он умно говорит; никогда я этого не сделаю.

Ефрем. Помилуйте, Аркадий Артемьич. — Ведь вам все это еще лучше моего известно. Что я за иезоп такой, чтобы сердиться. — За всяким толчком, не токмя что за побранкой — не угоняешься. — Вы сами знаете: быль, что смола, нeбыль, что вода. А неприятность со всяким может случиться; первеющий астроном — и тот от беды не убережется. Стрясется вдруг… откуда, батюшки? — Да и кто может определить наперед: это вот эдак будет — а это так. А господь его знает, как оно там выдет! Это все темнота. Вот, например, хучь медведь: — зверь лесной, пространный, — а хвост у него — так, с пуговку небольшую; а сорока вот — птица малая, перелётная — а вишь, хвостище какой нацепила. — Да кто ж это поймет? — Тут есть мудрость; тут ничего не разберешь; одна надежда на бога. Вот например, — позвольте вам доложить, Аркадий Артемьич, от усердия позвольте доложить. — Вы вот изволите отчаиваться, а отчего?

Михрюткин. Как отчего? Еще бы мне не отчаиваться! Вот еще что вздумал: отчего?

Ефрем. Я знаю, знаю, Аркадий Артемьич, — помилуйте, как нам не знать? — Мы всё знаем. Но вы вот что позвольте сообразить: и тут, и в этем случае, ничего тоже сказать нельзя наверняк. Вот, например. Вы изволите знать соседа нашего — Финтренблюдова? Уж на что был важный барин? Лакеи в кувбическую сажень ростом, что одного галуна, дворня — просто картинная галдарея, — лошади — рысаки тысячные, — кучер — не кучер, просто единорог сидит. — Залы там, трубачи, французы на хорах — те же арапы; ну, просто, все удобства, какие только есть в жизни. — И чем же кончилось? Продали все его имение сукциону. А вас, может быть, господь и помилует, и все так обойдется.

Михрюткин. Дай бог! Но мне что-то не верится.

Ефрем. Помилуйте, Аркадий Артемьич. Отчего же не верится?

Михрюткин. Не таково мое счастье, брат. Уж я себя знаю; знаю я свое счастье, выеденного яйца оно не стоит, мое счастье-то.

Ефрем. Помилуйте, Аркадий Артемьич!

Михрюткин. Да уж ты не говори, пожалуйста. — Ты, вот, лучше посмотри — лошади-то твои не бегут вовсе.

Ефрем. Помилуйте, лошади бегут, как следует.

Михрюткин. Ну хорошо… Я не говорю… я с тобой согласен. *(Возвышает голос.)* Я согласен с тобой, говорю тебе. *(Вздыхает.)* Экая жара, боже мой! *(Помолчав.)* Эка парит, господи! *(Еще помолчав.)* Мне хочется попробовать, не засну ли я маленько… *(Оправляется и прислоняет голову к боку кибитки.)*

Ефрем. Ну что ж — и с богом, батюшка. *(Продолжительное молчание. Михрюткин засыпает и похрапывает, слегка посвистывая и пощелкивая во сне. Голова у него заваливается назад. Рот раскрывается.)*

Селивёрст *(открывает сперва один глаз, потом другой, и вполголоса обращается к Ефрему)*. Однако, ты, я вижу, хорош гусь. Чего соловьем распелся?

Ефрем *(помолчав и тоже вполголоса)*. Чего распелся? Экой ты, братец, непонятный. Разве ты не видишь — барин у нас еще млад, малодушен… Надобно ж ему посоветовать, как, то есть, ему в жизни действовать… Селивёрст. Ну его! Вишь, вздумал няньчиться!..

Ефрем. Что ж — коли другие пренебрегают…

Селивёрст. Другие… другие…

Ефрем. Конечно, другие… Впрочем — ты… известное дело. Ты… Для тебя, что барин, что чужой человек — все едино.

Селивёрст. А тебе, небось, нет?

Ефрем *(помолчав)*. А что — неужто взаправду опеку хотят наложить?

Селивёрст. Непременно наложат. Мне сам секлетарь сказывал.

Ефрем. Вот как. Ну, — а барыня… стало быть, и она не будет — того — распоряжаться?

Селивёрст. Вестимо, не будет. Именье не ее.

Ефрем. Нет, — я по дому говорю, по дому.

Селивёрст. Нет, по дому распоряжаться будет.

Ефрем. Так какой же в эфтом толк? Хороша твоя опека — нечего сказать. *(Михрюткин ворочается во сне. Селивёрст и Ефрем зорко взглядывают на него; он спит.)* Еще пуще осерчает, чего доброго.

Селивёрст. И это бывает.

Ефрем. То-то же бывает. Его-то мне жаль.

Селивёрст. А мне не жаль. Вольно ж было ему. — Неочастный, кричит, человек я теперича стал в свете… А кто виноват? Не дурачился бы сверх мер человеческих. Да.

Ефрем. Эх, Александрыч, какой ты, право, нерассудительный!.. Ты сообрази: ведь он, все-таки, есть барин.

Селивёрст. Ну, да уж ты мне, пожалуйста, там не расписывай… *(Михрюткин опять ворочается и приподнимается слегка. Селивёрст проворно прячет голову в угол и закрывает глаза. Ефрем проводит кнутом над лошадьми и кричит: а ва, ва, квы, хвы, хва…)*

Михрюткин *(открывает глаза, щурится и потягивается)*. А я, кажется, тово, соснул.

Ефрем. Изволили почивать, точно.

Михрюткин. Далеко мы отъехали? *(Селивёрст приподнимается.)*

Ефрем. До повёртка еще версты три будет.

Михрюткин *(помолчав)*. Какой мне, однако, неприятный сон приснился! — Не помню хорошенько, что такое было, — а только очень что-то неприятное. *(Помолчав.)* Насчет именья… опеки. Будто вдруг меня под суд во Францию повезли… очень неприятно… очень.

Селивёрст. Известно… сонное мечтанье.

Михрюткин. Меня это беспокоит. *(Кашляет)*. Ефрем. Помилуйте, Аркадий Артемьич, зачем вы изволите беспокоиться. — С кем этого не бывает? Вот я на-днях имел сон, вот уж точно удивительный сон, просто непонятный. Вижу я… *(Наклоняет голову и у самого своего желудка нюхает из тавлинки табак, чтобы не засорить глаза барину.)* Вижу я… *(Кряхтит и шепчет вполголоса)*. Эк пробрал, разбойник!.. *(Громко.)* Вижу я себя, эдак, словно в поле, ночью, на дороге. Вот, иду я дорогой, да и думаю; куда ж это я иду? А места кругом как будто незнакомые — холмы какие-то, буераки — пустые места. Вот иду я и, знаете ли, эдак все смотрю — куда ж эта дорога ведет; не знаю, мол, куда это она ведет. — И вдруг мне навстречу будто теленок бежит — да так шибко бежит и головой трясет. — Ну, хорошо. Бежит, сударь, теленок, — а я будто думаю: э! да это никак отца Пафнутья теленок сорвался, дай, поймаю его. Да как ударюсь бежать за ним… А ночь, изволю вам доложить, темная, претемная — просто, зги не видать. Вот — бегу я за ним — за этим теленком-та — не поймаю его — ну что хошь — не поймаю. — Ах, братец ты мой, думаю я, эдак, будто сам про себя: да ведь это, должно быть, не теленок, а что-нибудь эдакое недоброе. Дай, думаю, а вернусь — пусть бежит себе, куда знает. Ну, хорошо. Вот иду я опять прежней дорогой — а близ дороги эдак будто древо стоит — иду я — а он вдруг как наскочит сзади на меня, — да как толкнет меня рогами в бедро… Смерть моя пришла. Оробел я — во сне-то, знаете ли — просто так оробел, что и сказать невозможно, — даже лытки трясутся. Однако, думаю я, что ж это он будет меня в бедро толкать — да, знаете ли, эдак взял да оглянулся… А уж за мной не теленок, а будто жена стоит, как есть простоволосая, и смотрит на меня злобственно. Я к ней — а она как примется ругать меня… Ты, мол, пьяница, куда ходил? Я, говорю, я не пьяница, говорю; где ты эдаких пьяниц видала, говорю, — а ты сама мне лучше скажи, каким ты манером сюда попала? Я, мол, барину пожалюсь, — бесстыдница ты эдакая… И Раисе Карпиевне тоже пожалюсь. — А она, будто, вдруг как захохо-чит, как захохо-чит… у меня так по животику мурашки и поползли. — Гляжу я на нее, а у ней глаза так и светятся, зеленые такие, как у кошки. Не смейся эдак, жена, говорю я ей — эдак смеяться грех. Не смейся — уважь меня. — Какая, говорит, я тебе жена — я русалка. Вот, постой, я тебя съем. Да как разинет рот — а у ней во рту зубов-то зубов — как у щуки… Тут уж я просто не выдержал, закричал, благим матом закричал… Куприяныч-то, старик, со мной в одном угле спал — так тот, как сумасшедший, с полатей долой кубарем — подбегает ко мне, крестит меня, чтo с тобой, Ефремушка, говорит, что с тобой, дай потру живот — а я сижу на постельке да эдак весь трясусь, гляжу на него, просто ничего не понимаю — даже рубашка на теле трясется. Так вот, какие бывают удивительные сны!

Михрюткин. Да, странный сон. Что ж, ты жене рассказал его?

Ефрем. Как же.

Михрюткин. Ну, что ж она?

Ефрем. Она говорит, что теленка во сне видеть, значит — к прыщам; а русалку видеть — к побоям.

Михрюткин. А! я этого не знал.

Ефрем. А говорит, закричал ты оттого, что домовой на тебе ездил.

Михрюткин. Вот вздор какой! Будто есть домовые.

Ефрем. А то как же-с? Помилуйте. Намеднись ключница зачем-то, под вечер, в баню пошла — не мыться пошла, баню-то в тот день и не топили, да и с какой стати старухе мыться, — а так — нужда какая-то приспичила. Что ж вы думаете? входит она в предбанник, а в предбаннике-то темно, — протягивает руку — и вдруг чувствует — кто-то стоит. Она щупает: овчина, да такая густая, прегустая.

Михрюткин. Это, верно, тулуп какой висел — она его и тронула.

Ефрем. Тулуп? Да в предбаннике от роду никакого тулупа не висело.

Михрюткин. Ну, так мужик какой-нибудь зашел.

Ефрем. Мужик? А зачем мужик станет тулуп шерстью кверху надевать. Мужик этого не сделает.

Михрюткин. Ну и что ж случилось?

Ефрем. А вот что случилось. Говорит она, старуха-то: с нами крестная сила! Кто это? — Ей не отвечают. Она опять: да кто ж это такое? А тот-то как забормочет вдруг по-медвежьи… Она так и прыснула вон. Насилу отдохнула, старая.

Михрюткин. Так кто ж это, по-твоему, был?

Ефрем. Известно кто: домовой. Он воду любит.

Михрюткин *(помолчав)*. Ну, глуп же ты, Ефрем, признаюсь. *(Обращаясь к Селивёрсту.)* И ты тоже в домовых веришь?

Селивёрст *(с неудовольствием)*. Охота вам, барин, об эфтих предметах разговаривать.

Ефрем. Да помилуйте, Аркадий Артемьич; это малые детки знают. А на лошадях, по ночам, кто ездит! Да у нас

не одни домовые — у нас и марухи водятся.

Селивёрст. Да перестань, Ефрем!

Ефрем. А что?

Селивёрст. Да так. Нехорошо. Вот нашел предмет к разговору.

Михрюткин. Марухи? Это что еще такое.

Ефрем. А вы не знаете? Старые такие, маленькие бабы, по ночам на печах сидят, пряжу прядут, и всё эдак подпрыгивают, да шепчут. Намеднись в Марчукова Федора одна эдакая маруха кирпичом пустила — он было к ней на печку полез…

Михрюткин. Он, дурак, во сне это видел.

Ефрем. Нет — не во сне.

Михрюткин. А коли не во сне, зачем он к ней полез?

Ефрем. Видно, поближе рассмотреть захотелось.

Михрюткин. То-то же, поближе! *(Помолчав.)* Какой однако это вздор, ха-ха! *(Опять помолчав.)* И к чему ты об этом заговорил — я удивляюсь. — Только уныние наводить.

Селивёрст. И точно уныние.

Михрюткин. Конечно, я этим пустякам не верю. Конечно. Одни только необразованные люди могут этому верить.

Ефрем. Ваша правда, Аркадий Артемьич.

Михрюткин. Ведь эти марухи, например, и прочее — ведь ты сам посуди — это разве тело? — Как ты полагаешь?

Ефрем. А не умею вам сказать, Аркадий Артемьич; кто их знает, что они такое.

Михрюткин. А коли не тело, разве они могут жить, существовать то есть? Ты меня пойми: то бывает тело — а то дух.

Ефрем. Тэ-эк-с.

Михрюткин. Ну — и следовательно, это все вздор, одна мечта; просто сказать — предрассудок.

Ефрем. Тэ-эк-с.

Михрюткин. А все-таки, об этом говорить не следует. К чему? Вопрос.

Ефрем. К слову пришлось, а впрочем, бог с ними совсем… *(Коренная спотыкается.)* Ну ты, дьявол — съели тебя мухи-то!

Селивёрст. Вот, дурак, как несообразно говорит! *(Плюет.)* Пфу! Чтоб им пусто было! Экой ты, Ефрем, легкомысленный человек — а еще кучер!

Ефрем. Ну, да ведь уж вы, Селивёрст Александрыч…

Михрюткин. Ну, ну, ну!.. Это что еще? Этого еще недоставало, чтобы вы в моем присутствии поссорились… Ефрем. Помилуйте, Аркадий Артемьич…

Михрюткин. Покорнейше прошу вас обоих молчать. — *(Небольшое молчанье.)* А тебя, Селивёрст, прошу не спать. Во-первых, оно неучтиво, а во-вторых — беспорядок. Что за спанье днем? На то есть ночь. Терпеть я не могу этих беспорядков!

Селивёрст. Слушаю-с.

Михрюткин *(помолчав, Ефрему)*. Ах, да! скажи-ка твоей жене — кстати, об ней речь зашла — чтобы она не забыла окурить коров… Мне в городе сказывали — в Жерловой падёж.

Ефрем. Слушаю-с.

Михрюткин *(помолчав)*. А что она… твоя жена… доволен ты ей?

Ефрем. В каком, то есть, например, смысле вы изволите говорить?

Михрюткин. Известно, в каком. Так, вообще. Я с своей стороны ею доволен. Она скотница хорошая.

Ефрем. Знает свое дело. *(Медленно.)* Известная вещь — без жены человеку быть несвойственно. Жена на то и дана человеку, чтобы служить ему, так сказать, в знак удовлетворенья. Ну, а впрочем, и в этим случае, осторожность не помеха. Недаром в пословице говорится: не верь коню в поле — а жене в доме. Баба, известно — человек лукавый, слабый человек; баба — плут. А муж не зевай. Женино дело — мужу угождать и детей соблюдать; а мужнино дело — жену в повиновеньи содержать: и в ласке-то будь он к ней строг. Вот эдак все хорошо и пройдет. *(Стегает лошадей.)* Иные мужья, в простонародьи, эдак, я знаю, говорят про своих жен: аль погибели на тебя нет! Я их осуждаю…

Михрюткин *(торопливо)*. Как — как они говорят?

Ефрем. Погибели на тебя нет…

Михрюткин *(задумчиво)*. Гм… вот как…

Ефрем. Я их осуждаю… Почему? Потому я их осуждаю…

Михрюткин *(с жаром)*. А я их не осуждаю… я их не осуждаю… *(Помолчав.)* Однако, перестань, наконец, молоть вздор. Право, с тобой… бог знает до чего? право. *(Помолчав и указывая рукой вперед.)* Что — ведь это, кажется, поворот в Голоплёки?

Ефрем. Это-с.

Михрюткин. Ну и слава богу! *(Сбрасывает с себя шинель и отряхается.)* Живей, Ефремушка, живей! *(Наклоняется вперед.)* Вот он, поверток-то; вот он. *(Тарантас сворачивает с большой дороги.)* Что, теперь версты три осталось — не больше? Ефрем. Будет ли еще. — Вот, только стоит спуститься в верх, а там взобрался на взлобочек, да и пошел взлызом — катай-валяй!

Михрюткин *(словно про себя)*. А что ни говорите, приятно возвращаться на родину. Душа веселится — сердце радуется. Даже лошади с большим удовольствием везут. Вишь, вишь, ветерок — прямо в лицо мне дует, канашка! *( К Селивёрсту.)* Что, ведь это, кажется, Грачевская роща на горе?

Селивёрст. Точно так — Грачевская.

Михрюткин. Славный лесок! Видный лесок! Приятный лесок! *(Продолжая глядеть кругом.)* Вишь, какая гречиха! И овсы, вот, хороши. Так и играют на солнце, бестьи! — Вон иржы тоже хороши. Чьи овсы?

Селивёрст. Безкучинских однодворцев.

Михрюткин. Вишь, однодворцы! — Что, у них хозяйство каково?

Селивёрст. Хозяйство у них не то, чтобы того… а впрочем — ничего. Живут; чего им еще?

Михрюткин. Хорошие овсы. *(Помолчав.)* И у нас овсы не дурны… Но к чему мне они теперь? К чему все это? Ведь я пропал, совершенно пропал… Пропала моя головушка… Отнимут у меня и это последнее удовольствие…

Селивёрст. Не извольте отчаиваться, Аркадий Артемьич.

Михрюткин. И Раиса Карповна — задаст она мне встрепку теперь! А я еще, глупый человек, радуюсь, что на родину возвращаюсь! Ах, я несчастнейшее, несчастнейшее существо! *(Умолкает и спустя несколько времени подымает голову.)* Вот уж Ахлопково стало видно… Хорошее сельцо. — Вон поповский орешник. — В этом орешнике, должно быть, зайцы есть. — Эх, ребята, послушайте-ка… Что унывать? — Ну-ка: «В темном лесе». *(Запевает.)* В темном лесе…

Ефрем и Селивёрст *(дружно подхватывают)*.

В темном лесе,

В темном лесе —

В темном?

Михрюткин. Ты высоко забираешь, Ефрем — ты не дьячок — чтo ты голосом виляешь-то?

Ефрем *(откашливаясь)*. А вот сейчас лучше пойдет.

Михрюткин *(тоненьким голосом)*.

Да в залесьи…

Ефрем и Селивёрст.

Да в залесьи…

Михрюткин *(кашляя)*.

Распашу… распашу я…

Ефрем. Эй вы, миленькие!

Распашу… распашу я…

Селивёрст. Распашу я… *(Кашель заставляет Михрюткина умолкнуть. Селивёрст запинается. Слышен один высочайший фальцет Ефрема, который поет)*:

И па… шин… нику…

И па… шин… нику…

(Тарантас въезжает в березовую рощу.)

**1851 г.**

Орловские слова, которые попадаются в «Разговоре»:

Лядащий — никуда не годный, дрянной.

Божевольный — шаловливый, пугливый.

Вохляк — неловкий, мешок.

Очунеть — притти в себя.

Спапашиться — справиться, изловчиться.

Лытки — мышцы под коленками.

Верх — овраг.

Взлобок, взлобочек — выдающийся мыс между двумя оврагами.

Взлыз — покатое место, pente douce.

Иржы — множественное число слова: рожь